БИБЛИОТЕКА САТИРЫ И ЮМОРА

ТЭФФИ

ПРОВОРСТВО РУК

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Типография Ленотгиза
им. тов. Бухарина
Ленинград, Ул. Моисеенко, 10
Количество 19.000 экз.
Главлит № 66.372
1926

В быту каждого общества при каждом строе есть род явлений просто смешных для всякого более или менее сознательного человека, — например, человек одевается каким-нибудь нелепым образом, чудачит в личной жизни и т. д., но там же, в глубинах быта и личной жизни, несомненно, можно наблюдать и такие явления, которые не просто смешны для окружающих, но, взятые в общем масштабе, измеренные меркой общественности, оказываются вредными для самой общественности, разлагают, отравляют ее.

Николаевская Россия оставила нам весьма тяжелое наследство во всех областях, в том числе и в быту, и в личной жизни, — особенно в быту и личной жизни так называемого „образованного общества", т.-е. чиновничества, средней интеллигенции, мещанства и прочих слоев населения, внешне советизированных, „стоящих на платформе советской власти". Политически безграмотные и безразличные, они ухитряются все же, помимо своей воли, даже против нее, быть далеко не безвредными для нового быта, для новой жизни. Исполненные благих намерений, но наполненные дурными привычками, переживаниями, обычаями, вкусами и уклонами, они заражают всем своим дурным существом и подростающее поколение и слабых, окруженных их влиянием, сверстников, создавая и искусственно поддерживая, пополняя и переформировывая ряды советской обывательщины.

Лучшая борьба с этим вредным явлением — сатира. И лучшая из сатир, наиболее действительная в этом отношении, — это сатира, показывающая, насколько обыватель был смешон еще в прежнее, царское время, насколько он тогда был нелеп и никчемен.

Переиздаваемые „ЗИФ" рассказы обывательски-юмористичной Тэффи в наших условиях превращаются в такую ядовитую сатиру на обывательщину, о какой (сатире) никогда и не мечтала сама „беленькая" писательница.

ПРОВОРСТВО РУК

В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцовала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша.

„Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как то: сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе".

Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем покорно и не отряхиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

— Ни одной дыры. Все серо. В Тимашове прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Обояни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину исправнику... всем послано. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

— Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.

К половине девятого выяснилось, что больше никто не придет.

А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно.

Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

„Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен, — это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уж чего. Головин сын на почетном месте — пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, это я вас спрашиваю! И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу".

— Брравво.... — заорал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:

— Уважаемая публика, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией, этого на свете даже совсем и не бывает. Нет. Далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть ни что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись.

— Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю.

Он встряхнул платок и растянул руками.

„С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахару а завтра что?" — думал он.

— Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Вдруг один из пьяных загудел:

— Вр-р-решь, вот яйцо.

— Где, что? — растерялся фокусник.

— А к платку на веревочке привязал.

— С той стороны, — закричали голоса. — На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

— Эх, ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе бы за свечку зайти, вот и незаметно было бы. А ты вперед залез. Так, братец, нельзя!

Фокусник был бледен и криво улыбался.

— Это, действительно, — говорит он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а только проворство рук. Извините, господа, — голос у него пресекся и задрожал.

— Ладно, да ладно!

— Нечего тут!

— Валяй дальше!

— Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно.

Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку.

— Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул.

— Прошу убедиться, совершенно целый платок.

Сын головы гордо осмотрел публику.

— Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивает шею.

— Веррно, — кричит пьяный, — паленным пахнет.

— А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым.

— Раз, два, три! Извольте убедиться.

Он гордо и ловко расправил платок.

— А-ах...

— А-ах, — ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленная дыра.

— Однако, — сказал сын головы и засопел носом.

Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

— Господа... Почтеннейшая пуб... Сбору никакого... Дождь с утра... куда ни попаду, везде... с утра... не ел... не ел.. на булку копейку.

— Да ведь мы ничего, бог с тобой! — кричала публика.

— Рази мы звери? Господь с тобой!

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

— Четыре рубля сбору... помещение — восемь рублей... во-о-осемь... воо-оо-о...

Какая-то баба всхлипнула.

— Да полно тебе, о господи! Душу выворотил, — кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне:

— Эт-то что? Расходись по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам. Молчали, вздыхали.

— А что я вам, братцы, скажу! — вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

— А что я вам скажу! Ведь подлец народ нонече пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит. А?

— Вздуть! — ухнул кто-то во мгле.

— Именно, что вздуть. Айда! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш... Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил не краденные... Ну, мы уж те покажем! Жжива...

УТЕШИТЕЛЬ

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают положение дела.

— Пустяки, — говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы еще студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат да и выпустят.

— Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.

— А потом и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядимши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чуяло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую ночь встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: „Брось ты ее, отдай, у кого взял!“ И бросить нельзя, товарищи велели.

— Так ведь оно не заряжено.

— Не заряжено-то оно не заряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, будто бы нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке быдто прогрелась, да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает, — сомневается тетенька.

— Мало что не бывает. За день разгорится, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот намедни Степанида Петровна тоже в газете вычитала. Быдто на Петербургской стороне продается лисья шуба за 16 рублей. Ну, статочная ли это штука. Чтобы лисья шуба...

— Врут, конечно, врут... им что... им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист, Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надутые и выражение лица зловещее.

— Здравствуйте. Я зашел... вообще, считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам в сущности нечего. Тем более, что вы, наверно, были подготовлены.

У маменьки лицо вытягивается, тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту очень спокойно. Климат в Сибири очень хороший. Особенно полезен для слабогрудых. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку, у маменьки глаза делаются совсем круглыми.

— Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист. — Можно ли так... из-за пустяков? Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... прометирующие личность вещи?

— Ох, господи, — застонала маменька, — пистоль эту, эту окаянную, да еще газетку какую-то.

— Газету, вы говорите, газету. Гм... осложняется, но волноваться вам совершенно нечего.

— Может-быть, газета-то и не к тому... — робко вмешивается тетка, — потому он на газету только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может-быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета Гм... Тем более, что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений, все это хорошо сохраняет нервные волокна. Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

— Голубчик, — вся затряслась маменька, — голубчик, не томи! Говори, говори! Все, что знаешь. Уж лучше сразу. Сразу. Сразу, — всхлипнула она.

— Не надо нас подготавливать... мы тверды...

— Говори, святая владычица!

Гимназист пожал плечами.

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного, нужно же быть рассудительными. Ну, газета,

ну, револьвер. Что за беда? Револьвер, гм... вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу. Ему говорят: „Снимите очки“, а он говорит: „Я, мол, ничего не вижу невооруженным глазом“. Вот его за вооружение глаза и расстреляли. Что же касается Михаила, то само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки. Если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть. В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну, разве можно так волноваться? Ай, как стыдно, — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит:

— И на кого ты нас...

— Ну-с, я вечерком опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего свой тяжелый долг.

КОРСИКАНЕЦ

Допрос затянулся, и жандарм чувствовал себя утомленным. Он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: „Марш, марш вперед, рабочий народ“...

— Эт-то что? — спросил жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам например агента.

— Нич-чего, нич-чего не понимаю. Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявил непременное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской

конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. „Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои отдаю на конку“. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения своих сил, предполагая их существование...

„Крявявый и прявый...“ — дребезжало за стеной.

— Врешь,— поправил бас.

— И что же, талантливый человек?— спросил жандарм.

— Амбициозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знаёт, а туда же лезет, в провокаторы. Ныл... ну и ныл... Вот спасибо городовой бляха № 4711... Он у нас это все, как по нотам... Слова-то, положим, все городовые хорошо знают, на улице стоят, уши не заткнешь... Ну, а бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся учить.

— Ишь, „Варшавянку“ жарят,— мечтательно прошептал жандарм.— Самолюбие вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако, достиг гм... кое-чего.

„Оно горит и ярко рдеет“...

„То наша кровь горит на нем“,— рычит бляха № 4711.

— Как-будто уже другой мотив,— насторожился жандарм.— Что же он всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, быдто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбище же у людей.

„Семя грядущего“,— заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская,— вздохнул жандарм.— Говорят, что Наполеон, когда был еще простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что?— поднимает брови жандарм.

— А это наши союзники, которые в нижнем этаже, волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им.

— А, э-э, черт... Действительно, как-то неудобно. Пожалуй и на улице слышно, подумают — митинг у нас.

— Пес ты окаянный,— вздыхает за стеной бляха.— Что ты воешь, как собака? Разве революционер так воет? Революционер

открыто поет. Звук у него ясный. Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит, да глазами во все стороны сигает. Не сигай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду! Нанимай себе максималиста, коли охота есть!

— Сердится,—усмехнулся письмоводитель,—Фигнер какой,

— Самолюбие, самолюбие,—повторяет жандарм.—В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор, этого разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

„Нашим потом жиреют обжоры“,—надрывается городовой.

— Фу, у меня даже зуб заболел. Отговорили бы его, что-ли!

— Да как его отговоришь, если он сам в себе чувствует этакое, значит, влечение? Карьерист народ пошел,—вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон... зуб болит.

„Вы жертвою пали“,—взревел городовой.

„Вы жертвою пали“,—жалобно заблеял шпик.

— К черту!—взвизгнул жандарм, выбегая из комнаты.—Вон отсюда,—раздался его прерывающийся и осиплый от злости голос.—Мерзавцы! В провокаторы лезут, а марсельезы спеть не умеют! Осрамят заведение. Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев...

Хлопнула дверь. Все стихло. За стенкой кто-то всхлипнул.

ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

До отхода поезда оставалось еще восемь минут.

Пан Гусинский уютно уселся в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркало и выглянул в окно.

Пан Гусинский был коммивояжер по профессии, но по призванию — дон-жуан чистейшей воды. Развозя по всем городам

образцы оптических стекол, он в сущности заботится только об одном — как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды и удовольствия.

В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два — три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы, взглянет.

И как взглянет! Это трудно объяснить, но... словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол, — он глядел совершенно иначе.

С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.

А пан Гусинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил ее на ходу.

— Ну, эта уже не забудет, — думал он. — И эта имеет себе тоже. Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума.

При более близком, более долгом знакомстве пан Гусинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и чары своей духовной красоты. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был двенадцать раз бит в разных городах и разными предметами.

В Лодзи — машинкой для снимания сапог, в Киеве — палкой, в Житомире — копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) — самоварной трубой, в Чернигове — сапогом, в Минске — палкой из-под копченого сига, в Вильне — футляром от скрипки, в Варшаве — бутылкой, в Калише — суповой ложкой, и, наконец, в Могилеве — просто кулаком.

*

Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как-раз противоположное. Едва выглянул пан Гусинский в окошко, как мимо по платформе

прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.

Пан Гусинский высунул голову.

— Эге! Это она преспокойно торопится на поезд. Поедем, следовательно, вместе. Ну, что ж, пусть себе!

Судьба дамы была решена.

Когда поезд двинулся, пан Гусинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.

Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гусинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то, что он расшаркался и сказал „пардонкс" с чисто парижским шиком.

На станциях пан Гусинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гусинского один толстый кадет и жевал яблоко. Томные взгляды дон-жуана гасли на круглых кадетских щеках.

Пан призадумался.

— Здесь немного придется заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься. Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладеть любовью ребенка, и мать будет поймана.

И он стал завладевать.

Купил на полустанке пару яблок и подал их в окно кадету:

— Вы любите плоды, молодой человек. Я уже это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику.

— Мерси, — мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.

Поезд двинулся, и Гусинский еле успел вскочить.

— Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду.

Он взял свой чемодан и преспокойно расшаркался перед дамой.

— Пардонкс, у меня там такая теснота! Можете себе представить — вышел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может-быть, разрешите? Я здесь устроюсь рядом с молодым человеком, хе-хе!

Дама пожала плечами.

— Пожалуйста, мне-то что.

И, вынув книжку, стала читать.

— Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?

— В Петроков, — буркнул кадет.

Гусинский так и подпрыгнул.

— Боже мой, это прямо знаменитое совпадение. Я также преспокойно еду в Петроков. Значит, всю ночь мы проведем вместе да еще и почти целый день. Нет, видали ли вы что-нибудь подобное?

Кадет отнесся к знаменитому совпадению очень сухо и угрюмо молчал.

— Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю. Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?

Кадет молчал. Дама читала. Гущинский задумался.

„Зачем она его родила? Только мешает. При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но, поди, сердце матери отпирается при помощи сына".

Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:

— Так вот был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее преспокойно врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? Тем более, что я был почти уже обручен с одной девицей из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я, как рыцарь, не мог никого компрометировать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот, убийца, смотрит на меня сверху.

Понимаете ужас? Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого. Я убежал и позвал городового.

Дама подняла голову.

— Что вы за вздор рассказываете мальчику.

И опять углубилась в чтение.

Пан Гусинский ликовал.

— Эге, начинается. Уже заговорила.

— Я хочу есть,— сказал кадет,— скоро ли станция?

— Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка. Я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично. Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить.

Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гусинский сбегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.

— Ваша мамаша — это нечто замечательное. Если она захочет, то может каждого скокетничать. Уверяю вас.

Кадет глядел удивленно бараньими глазами и ел за четверых.

— Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша уже начинает беспокоиться,— томился дон-жуан.

Когда вернулись, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, завернувшись с головой в плед.

„Эге! Ну, да ничего, завтра еще целый день. Отдала сына в належные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарить. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шесть гривен".

— Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня. Ничего, ничего. Штаны я потом отчищу бензином. Вот так. Молодцом!

Кадет спал крепко и только изредка лягал пана Гусинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.

Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гусинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан... Что такое? Бьет третий звонок.

— Сударыня, что вы делаете? Сейчас поезд тронется. Третий звонок. Вы преспокойно стоите.

Кондуктор свистнул, стукнули буфера.

— Мы уже трогаемся! — надрывался Гусинский, забыв всякую томность глаз.

Поезд тронулся. Гусинский вдруг вспомнил о кадете.

— Сына забыли. Сына! Сына!

Дама досадливо махнула рукой и отвернулась.

Гусинский схватил кадета за плечо.

— Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что это такое? — вопил он.

Кадет захныкал.

— Какая мамаша? Что вы меня трясете? Моя мамаша в Петрокове.

Гусинский даже сел.

— А... как же... А эта дама. Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума. А?

— Гм...— хныкал кадет. — Я не называл. Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша. Я ее не знаю. Я не виноват. И не надо мне ваших яблок, не на-а-а-до...

Пан Гусинский вытер лоб платком, встал и взял свой чемодан.

— Поскудный обжора вы. Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Свинья!

Хлопнув дверью, он вышел на площадку.

МОРСКИЕ СИГНАЛЫ

Мы катались на Неве.

Нева — это огромная река, которая впадает сразу в две стороны — в Ладожское озеро и в Балтийское море. Поэтому плавать по ней очень трудно. Но с нами был Нырялов, большой моряк, который справлялся не с такими задачами. Он греб все время один и болтал веслами в разные стороны. Таким образом, лодка стояла на одном месте и было скучно. Но у моряков, кажется, это очень ценится. Называется это у них „зашкваривать“, или что-то в этом роде.

Пели по обычаю: „Вниз по матушке по Волге". На воде всегда поют: „Вниз по матушке по Волге". Но едва затянули „На носу сидит хозяин", как увидели большое судно, стоявшее у берега.

— Это оно отшвартовалось, — сказал бывший моряк. Мне не хотелось показать, что я не поняла слова, и только заметила:

— Само собой разумеется, но как вы „это" узнаете?

— Что „это"?

— Да что с ним произошло именно „это", а не другое.

Но моряк уже не слушал меня, а всматривался в какие-то беленькие лоскутки, развевавшиеся на мачте.

— Эге, — сказал он. — Любопытно. Ведь это они сигнализируют. В море всегда это делается посредством небольших флагов.

— А что же значит этот сигнал? — спросили мы.

— Это? Гмм... Два слева, один выше... Это значит „мы на мели".

— Ай, ай, ай! Несчастные.

— Что же делать? Мы, во всяком случае, помочь не можем. Придется подождать. Скоро другие суда заметят и придут на помощь.

Мы остановились, причалили к берегу и стали наблюдать.

Через несколько минут на корабле появились еще два флага. На этот раз оба были цветные.

— Это что же?

Моряк заволновался.

— Два пестрых... Два белых... „Голодаем".

— Несчастные!

— Вот еще один флаг.

— Три пестрых, два белых... „нет воды".

— Какой ужас!

— Еще флаги. Сразу четыре!

— Позвольте! Не кричите. Дайте разобраться. Вы думаете, это так просто. Теперь уже девять флагов, может-быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это значит „сдаемся без боя".

— Значит, это иностранное судно?

— А кто его разберет! Очень близко подойти опасно. Они могут дать залп.

— Чего ради?

— Как чего ради? Люди в таком опасном положении. Нервы напряжены до крайности. Каждая минута дорога и все кажется зловещим. Вы не понимаете психологии гибнущего в море. Да они вас в клочки разорвут!

Мы притихли.

А количество страшных флагов все увеличивалось.

Моряк уже не объяснял нам значение каждого сигнала. Он только безнадежно махал руками и только изредка бросал отдельные слова.

— „Свирепствует зараза".

— „Пухнем с голоду".

— „Сдаемся без выстрела".

Мы молча предавались ужасу.

— Какая величественная картина,—шепнул кто-то из нас. — Точно громадный зверь погибает.

— Ужасно! Ужасно!

— „Идем ко дну!" — завопил вдруг моряк. — Все кончено — они идут ко дну. Мы должны немедленно отплыть подальше, иначе нас затянет в воронку и мы утонем вместе с ними. Гребите скорей!

Мы взялись за весла. Моряк уже не греб, а только дирижировал; он даже забыл, что Нева сразу впадает в два конца, и не препятствовал нам болтать веслами в одну сторону.

Отплыли, завернули за берег.

— Посмотрите, виден ли он еще? Я сам не могу, мне слишком тяжело.

— Виден.

— Несчастные, как они медленно погружаются!

Отъехали еще немножко.

— Виден?

— Виде-ен.

— О, господи, минуты-то какие!

Вдруг смотрим: идут по берегу два матроса. Так что-то в сердце и екнуло.

— Братцы, вы откуда, вы куда?

— А из городу. Идем на энтот самый.

Тычат большими пальцами прямо в сторону гибнущего корабля.

— Да что вы? Да вы посмотрите, что там делается-то! Али вам с берега не видать?

— Как не видать? Видать!

— А что на мачтах-то висит? А? Несчастные вы!

— А ничего. Пущай себе висит. Это наша команда рубашки стирает, так вот повесила. Не извольте пужаться. Оно к вечеру подсохнет.

ТАЛАНТ

У Зоиньки Мильгау еще в институте обнаружился большой талант к литературе.

Однажды она такими яркими красками описала в немецком переложении страдания орлеанской девы, что на другой день учитель напился и не пришел в класс.

Затем последовал новый триумф, укрепивший за Зоинькой славу лучшей в институте поэтессы. Чести этой она добилась, написав пышное стихотворение на приезд попечителя, начинающееся словами:

Вот, наконец, пробил наш час.
И мы увидели ваш облик среди нас...

Когда Зоинька окончила институт, мать спросила ее:

— Что же ты теперь думаешь делать? Молодая девушка должна совершенствоваться или в музыке, или в пении, или в рисовании.

Зоинька посмотрела на мать с недоумением и сказала:

— Зачем же мне рисовать, когда я писательница?

И в тот же день села за роман. Писала она целый месяц, очень прилежно, но все-таки вышел не роман, чему она очень удивилась, а простой рассказ.

Тема была самая оригинальная: одна молодая девушка влюбилась в одного молодого человека и вышла за него замуж. Называлась эта штука „Иероглифы Сфинкса".

Молодая девушка приблизительно вышла замуж на десятой странице листа писчей бумаги обыкновенного формата, и что с ней делать было дальше — Зоинька никак не могла придумать. Думала три дня и написала эпилог:

„С течением времени у Элоизы родилось двое детей и она, повидимому, была очень счастлива".

Зоинька думала еще два дня, потом переписала все набело и понесла в редакцию.

Редактор оказался человеком малообразованным. В разговоре выяснилось, что он никогда и не слышал о Зоинькином стихотворении на приезд попечителя. Рукопись, однако, взял и просил прийти за ответом через две недели.

Зоинька покраснела, побледнела, сделала реверанс и пришла через две недели.

Редактор посмотрел на нее сконфуженно и сказал:

— Н-да, госпожа Мильгау?

Потом пошел в другую комнату и вынес Зоинькину рукопись. Рукопись была грязна, углы ее закрутились в разные стороны, как уши у бойкой борзой собаки, и вообще она имела печальный и опозоренный вид.

Редактор протянул Зоиньке рукопись.

— Вот-с!

Но Зоинька не понимала, в чем дело.

— Ваша вещица не подходит для нашего органа. Вот, видите ли.

Он развернул рукопись.

— Вот, например, в начале... ммм... „солнце золотило верхушки деревьев"... ммм... Видите ли, милая барышня, наша газета идейная. Мы в настоящее время отстаиваем права якутских женщин на сельских сходах, так что в солнце в настоящее время никакой надобности не имеется. Так-с!

Но Зоинька все не уходила и смотрела на него с такой беззащитной доверчивостью, что у редактора стало горько во рту

— Тем не менее у вас, конечно, есть дарование, — прибавил он, с интересом рассматривая собственный сапог. — Я даже хочу вам посоветовать сделать некоторые изменения в вашем рассказе, которые, несомненно, послужат ему на пользу. Иногда от какого-нибудь пустяка зависит вся будущность произведения. Так, например, ваш рассказ просит, чтобы ему придали драматическую форму. Понимаете? Форму диалога. У вас вообще блестящий диалог. Вот, тут, например: „до свиданье, сказала она", и так далее... Вот вам мой совет: переделайте вашу вещицу в драму. И не торопитесь. Продумайте хорошенько, художественно. Проработайте.

Зоинька пошла домой, купила для вдохновения плитку шоколада и села работать.

Через две недели она уже сидела перед редактором, а тот, утирая лоб платком, заикаясь, говорил:

— На-прасно вы так торопились. Если писать медленно и хорошо обдумывать, то произведение выходит лучше, чем когда его не обдумываешь и пишешь скоро. Зайдите через месяц за ответом.

А когда Зоинька ушла, он тяжело вздохнул и сказал:

— А вдруг она за этот месяц выйдет замуж или уедет куда-нибудь или просто бросит всю эту ерунду! Ведь бывают же чудеса. Ведь бывает же счастье.

Но счастье бывает редко, а чудес и совсем не бывает, и Зоинька через месяц пришла за ответом.

Увидав ее, редактор покачнулся, но сейчас же взял себя в руки и сказал:

— Ваша вещица? Н-да, прелестная вещица. Только, знаете, я должен вам дать один блестящий совет: переложите вашу вещицу на музыку. А?

Зоинька обиженно повела плечами.

— Зачем на музыку? Я не понимаю.

— Как не понимаете? Переложите ее на музыку, так у вас прекрасная опера выйдет. Поймите только — опера. Поищите хорошего композитора...

— Нет, я не хочу оперы, — сказала Зоинька решительно. — Я писательница, а вы вдруг... опера. Я не хочу.

— Голубчик мой, да вы прямо сами себе враг. Вы только представьте себе... вдруг вашу вещь запоют. Нет, я вас прямо отказываюсь понимать.

Зоинька сделала козлиное лицо и упрямо отвечала:

— Нет и нет! Не желаю! Раз вы мне сами заказали переделать мою вещь в драму, так вы теперь должны ее напечатать, потому что я приноравливала ее на ваш вкус.

— Да я и не спорю. Вещица очаровательная. Но вы меня не поняли. Я, собственно говоря, советовал переделать ее для театра, а не для печати.

— Ну, так и отдавайте ее в театр, — улыбнулась Зоинька его бестактности.

— Ммм... да, но, видите ли, современный театр требует особого репертуара. Гамлет уже написан. Другого не надо. А вот хороший фарс нашему театру очень нужен. Если бы вы могли...

— Иными словами, вы бы хотели, чтобы я переделала „Иероглифы Сфинкса" в фарс. Так бы вы и говорили!

Она кивнула ему головой, взяла рукопись и с достоинством вышла.

Редактор долго смотрел ей вслед, чесал карандашем в бороде и думал:

„Ну, слава богу, больше не вернется. Но жаль все-таки, что она так обиделась. Только бы не покончила с собой!"

— Милая барышня, — говорил он через месяц, смотря на Зоиньку кроткими голубыми глазами. — Милая барышня, вы напрасно взялись за это дело. Я прочел ваш фарс, и, конечно, попрежнему остался поклонником вашего таланта. Но, к сожалению, должен вам сказать, что такие тонкие, изящные фарсы не могут иметь успеха у нашей публики. Поэтому театры берут только очень, как бы вам сказать, только очень неприличные фарсы, а ваша вещица, простите, совсем не пикантная.

— Так вам нужно неприличное? — деловито осведомилась Зоинька, и, вернувшись домой, она спросила у матери:

— Маман, что считается самым неприличным?

Маман подумала и сказала, что, по ее мнению, самое неприличное на свете, это — голые люди.

Зоинька проскрипела пером минут десять и на другой день гордо протянула редактору свою рукопись.

— Вы хотели неприличного. Вот, я переделала.

— Да где же? — сконфузился редактор. — Я не вижу... все, как было...

— Как где? Вот здесь! В действующих лицах.

Редактор повернул страницу и прочел:

„Действующие лица: Иван Петрович Жукин, мировой судья, 53-х лет, — голый.

Анна Петровна Бек, помещица благотворительница, 43-х лет,— голая.

Кусков — земский врач, — голый.

Рыкова, фельдшерица, влюбленная в Жукина, 20 лет, — голая.

Становой пристав, — голый.

Глаша, горничная, — голая.

Чернов, профессор, 65 лет, — голый".

— Теперь у вас нет предлога отвергать мое произведение, — язвительно сказала Зоинька. — Мне кажется, что уж это достаточно неприлично.

КУЛИЧ

В конторе купца Рыликова работа кипела ключом.

Бухгалтер читал газету и изредка поглядывал в раскрытую дверь на мелких служащих.

Те тоже старались. Михельсон чистил резинкой свои манжеты. Рябунов вздыхал и грыз ногти; конторская Мессалина — переписчица Ольга Петровна деловито стучала машинкой, но оживленный румянец на пухло-румяных щеках выдавал, что настукивает она приватное письмо и, к тому же, любовного содержания.

Молодой Викентий Кулич, три недели тому назад поступивший к Рыликову, задумчиво чертил на своей счетной книге все одну и ту же фразу:

„Сонечка, что же это?“

Потом украшал буквы завитушками и чертил снова.

Собственно говоря, если бы не порча деловой книги, то это занятие молодого Кулича нельзя было бы осудить, потому что Сонечка, о которой он думал, была уже два месяца его женой.

Но именно это-то обстоятельство и смущало его больше всего: он должен был, поступая на службу, выдать себя за холостого, потому что женатых Рыликов к себе не брал.

— Женатый норовит, как бы раньше срока домой удрать, с женой апельсинничать,— пояснял он.— Сверх срока он тебе и пером не скребнет. И чего толку жениться-то? Женятся, а через месяц полихимию разведут, либо к бракоразводному адвокату побегут. Нет, женатых я не беру!

И Кулич спрятал обручальное кольцо в жилетный карман и служил на холостом положении.

Жена его была молода, ревнива и подозрительна, и потому телефонировала ему на службу по пять раз в день, справляясь о его верности.

— Если уличу,— грозила она,— повешусь и перееду к тетке в Устюжну.

И весь день на службе томился Кулич, терзаемый телефоном, и писал завитушками на всех деловых бумагах: „Сонечка опять. Сонечка, что же это?“

— Опять вас вызывают,— говорил Рябунов таким тоном, точно его оторвали от серьезной, интересной работы.

Он сидел к телефону ближе всех и благословлял судьбу, отвлекавшую его хоть этим развлечением от монотонного занятия — грызни ногтей.

— Опять вас, Кулич.

Кулич краснеет, спотыкаясь, идет к телефону и говорит вполголоса мимо трубки первое попавшееся имя: „А, это вы, Дарья Сидоровна“. Затем продолжает разговор полным голосом.

Мессалина свистит громким шопотом:

— Дарья Сидоровна. Это, верно, какая-нибудь прачка.

— Зачем ты звонишь? — блеет в трубку смущенный Кулич.— Что? Верен... Боже мой, котик, да с кем же? Ведь я же на службе... Что? Посмотри у меня в комоде. И я тоже безумно люблю. Ровно в половине восьмого.

Он вешает трубку и идет на место, стараясь ни на кого не смотреть, и в ужасе ждет нового звонка.

— Опять вас. О, господи, — вздыхает Рябунов.

— А, Антонина Сидоровна, — грустно радуется Кулич мимо трубки.

— Сидоровна, — свистит Мессалина. — Видно, сестра той, хи-хи!

— Нет, пока еще не догадались, — говорит Кулич. — Но будь осторожна, котик милый. Не звони так часто... Одну тебя. Одну.

Через час звонит Амалия Богдановна.

— Наверно, акушерка, — догадывается Мессалина.

— Не звони ко мне больше, — умоляет через час Кулич какую-то Ольгу Карповну. — Ради бога. Ты знаешь, что одну тебя. Не звони, котик, умоляю. Ты выдашь себя!

Анне Карповне, позвонившей часа через полтора, он сказал одно короткое: — Люблю.

И повесил трубку.

И каждый день повторялась та же история, развлекавшая занимавшая и возмущавшая всю контору.

— Какая-нибудь несчастная попадется ему в жены,—возмущалась Мессалина.

— Это уж не дон-жуан, а сатир, — кричал Рябунов, остро завидовавший Кoriginalчевским успехам.

— Это язва на общественной совести, — вставил любящий чистоту манжет Михельсон. — Это ждет себе возмездия. Ей-богу! Я вам говорю.

— И кто откроет глаза несчастным жертвам? — ахала Мессалина.

— Этих глаз слишком много, — возразил Михельсон, — чтобы их можно было открыть, не затрачивая времени. Я вам говорю.

Рыликов тоже сердился.

— Отчего к вам никогда не дозвонишься?— возмущался он.— Какой это чорт у вас на проволоке повис?

После одного исключительного по телефонным разговорам дня, когда Кулич обещал всем восьми женщинам, что поцелует их ровно в половине десятого, вся контора решила жаловаться начальству:

— До бога высоко, это так,—говорил Михельсон.— Рыликов все равно с нами рассуждать не станет. Пойдем к Арнольду Ивановичу.

Пошли к бухгалтеру и рассказали всю правду.

— Он нам мешает работать. Все звонки, да звонки, никак не сосредоточишься,— говорил Рябунов, избранный депутатом.— Мы хотим работать, каждый человек любит работать, а они отрывают. Но мы бы не обижались, если бы тут были серьезные дела. Нет. Но нас главным образом возмущает безнравственное поведение вышеизложенного субъекта.

Красноречие докладчика широкой волной захватило слушателей.

Бухгалтер засопел носом. Михельсон молодцевато подбоченился („Я вам говорил!"), Мессалина разгорелась и подумала: „Рябунов, ты будешь моим!"

— Этот нижеподписавшийся человек, ниже которого, по моему, и подписаться нельзя,— продолжал Рябуной,— меняет акушерку на прачку и двух прачек между собой. Мы не можем больше молчать и выслушивать его гнусные нежности, которые он сыплет в трубку, как горох. Мы не желаем играть роль какого-то общества покровительства животным страстям.

— Ей-богу!— воскликнул Михельсон.— Я вам говорю!

— И он их всех зовет „котиками",— вспыхнула Мессалина.

Он сопел, чесал в бороде карандашем и, наконец, сказал:

— О, это, действительно, мешал акушерка с два прачка, то завтра я с ним поговорю. Пфуй, я поговорю... котика.

Кулич весь задрожал, когда на другой день бухгалтер поманил его к себе и запер дверь.

„Чего волноваться? — успокаивал он себя. — Просто, верно жалованья прибавят".

— Милостивый господин,—торжественно начал бухгалтер.— Я любопытен знать, с кем вы ежечасно говорите по телефону?

Кулич застыл.

— Ради бога, Арнольд Иванович. Не подумайте чего-нибудь... как говорится... жена. Клянусь вам. Это все самые различные персонажи своей надобности...

Бухгалтер посмотрел строго.

— Милостивый господин! Вы знаете, как называется ваше поведение? Оно называется притон безнравственности. Вот как!

Он полюбовался смущением Кулича и сказал:

— Вы мешаете акушерку с две прачки. Я, знаете, ничего подобного никогда не видал. Ни в людей, ни в животном царстве. Этого терпеть нельзя. С сегодняшнего дня вы уже не служащий в конторе, а сатир без должности.

— Меня оклеветали,— застонал Кулич. — Я мог бы доказать, если бы судьба не заткнула мне рот...

— Электричество лгать не будет, — загремел бухгалтер. — Вся контора слышала. Пфуй, вот ваше жалованье... Руки вам не подаю... Прощайте... Идите к тем, кого вы определяете котиками, господин развратный сатир!

Кулич бомбой вылетел на улицу. Едва захлопнулась за ним дверь, как в конторе зазвонил звонок.

— Вам Кулича?— ликовал Рябунов в трубку.— Кулича нет. Фью! За разврат уволен. Виноват, сударыня, должен вам открыть глаза. Не сетуйте на меня. Каждый джентльмен, если он только порядочный человек, сделал бы на моем месте то же. Я чувствую, что говорю с одной из жертв развратного Кулича... Да, да, да, целые дни он проводил в беседе с дамами прекрасного пола. Что? По телефону... Нежничал до бесстыдства... Называл котиками всех... и акушерку тоже... Вас, верно, тоже... Да... Вы только не волнуйтесь... На глазах у всех, или, вернее, на ушах у всех... назначал свиданья... Что?.. что?..

— Господа,— сказал он, обращаясь к товарищам.— Эта мегера, кажется, плюнула прямо в трубку!.. Ужасно неприятно в ухе.

— Наша миссия выполнена,— торжествовал Михельсон.— Ей-богу! Теперь они уже разорвут его на части. Я вам говорю.

О ДНЕВНИКЕ

Мужчина всегда ведет дневник для потомства.

„Вот,— думает,— после смерти найдут в бумагах и оценят".

В дневнике мужчина ни о каких фактах внешней жизни не говорит. Он только излагает свои глубокие философские взгляды на тот или иной предмет.

„5 января. Чем, в сущности, человек отличается от обезьяны или животного? Разве только тем, что ходит на службу и там ему приходится выносить разного рода неприятности"...

„10 февраля. А наши взгляды на женщину! Мы ищем в ней забавы и развлечения, и, найдя, уходим от нее. Но так смотрит на женщину и бегемот"...

„12 марта. Что такое красота? Еще никто до сих пор не задавался этим вопросом. А, по-моему, красота есть ни что иное, как известное сочетание линий и известных красок.

А уродство есть ни что иное, как известное нарушение известных линий и известных красок.

Но почему же ради известного сочетания мы готовы на всякие безумства, а ради нарушения палец о палец не ударим?

Почему сочетание важнее нарушения?

Об этом следует долго и основательно подумать".

„5 апреля. Что такое чувство долга? И это ли чувство овладевает человеком, когда он платит по векселю, или что-нибудь другое?

Может-быть, через много тысяч лет, когда эти строки попадут на глаза какого-нибудь мыслителя, он прочтет их и задумается, как я — его далекий предок..."

„6 апреля. Люди придумали аэропланы. К чему? Разве это может остановить хотя бы на одну тысячную секунды вращение земли вокруг солнца?..“

*

Мужчина любит изредка почитать свой дневник. Только, конечно, не жене, — жена все равно ничего не поймет. Он читает свой дневник клубному приятелю, господину, с которым познакомился на бегах, судебному приставу, который пришел с просьбой „указать, какие именно вещи в этом доме принадлежат лично вам“.

Но пишется дневник все же не для этих ценителей человеческого искусства, ценителей глубин человеческого духа, а для потомства.

*

Женщина пишет дневник всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаевича. Поэтому каждая всегда пишет о своей наружности.

„5 декабря. Сегодня я была особенно интересна. Даже на улице все вздрагивали и оборачивались на меня“.

„5 января. Почему все они сходят с ума из-за меня? Хотя я, действительно, очень красива. В особенности глаза Они, но определению Евгения, голубые, как небо“.

„5 февраля. Сегодня вечером я раздевалась перед зеркалом. Мое золотистое тело было так прекрасно, что я не выдержала, подошла к зеркалу, благоговейно поцеловала свое изображение прямо в затылок, где так шаловливо вьются пушистые локоны“.

„5 марта. Я сама знаю, что я загадочна. Но что же мне делать, если я такая?“

„5 апреля. Александр Андреевич сказал, что я похожа на римскую гетеру, и что я с наслаждением посылала бы на гильотину древних христиан и смотрела бы, как их терзают тигры. Неужели я действительно такая?“

„5 мая. Я бы хотела умереть совсем, совсем молоденькой, не старше 46 лет.

Пусть скажут на моей могиле: „Она не долго жила. Не дольше соловьиной песни".

„5 июня. Снова приезжал В. Он безумствует, а я холодна, как мрамор".

„6 июня. В. безумствует. Он удивительно красиво говорит. Он говорит: „Ваши глаза глубоки, как море".

Но даже красота этих слов не волнует меня. Нравится, но не волнует".

„6 июля. Я оттолкнула его. Но я страдаю. Я стала бледна, как мрамор, и широко раскрытые глаза мои тихо шепчут: „За что, за что?" Сергей Николаевич говорит, что глаза — это зеркало души. Он очень умен и я боюсь его".

„6 августа. Все находят, что я стала еще красивее. Господи! Чем это кончится?"

*

Женщина никогда никому своего дневника не показывает. Она его прячет в шкаф, предварительно завернув в старый капот. И только намекает на его существование кому нужно. Потом даже покажет его, только, конечно, издали, кому нужно. Потом даст на минутку подержать, а потом уж, конечно, не отбирать же его силой!

И „кто нужно" прочтет и узнает, как она была хороша пятого апреля и что говорили о ее красоте Сергей Николаевич и безумный В.

И если „кто нужно" сам не замечал до сих пор того, что нужно, то, прочтя дневник, уж, наверно, обратит внимание на что нужно.

Женский дневник никогда не переходит в потомство.

Женщина сжигает его, как только он сослужил свою службу

СОДЕРЖАНИЕ